



ПРОМЕЖУТОК

ИНГА КУЗНЕЦОВА

18+

роман

Городская проза

Инга Кузнецова

Промежуток

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кузнецова И. А.

Промежуток / И. А. Кузнецова — «Издательство АСТ»,
2019 — (Городская проза)

ISBN 978-5-17-119810-7

Что, если допустить, что голуби читают обрывки наших газет у метро и книги на свалке? Что развитым сознанием обладают не только люди, но и собаки, деревья, безымянные пальцы? Тромбоциты? Кирпичи, занавески? Корка хлеба в дырявом кармане заключенного? Платформа станции, на которой собираются живые и мертвые? Если все существа и объекты в этом мире наблюдают за нами, осваивают наш язык, понимают нас (а мы их, разумеется, нет) и говорят? Не верите? Все радикальным образом изменится после того, как вы пересечете пространство ярко сюрреалистичного – и пугающе реалистичного романа Инги К. Автор создает шокирующую модель – нет, не условного будущего (будущее – фейк, как утверждают герои). Прекрасную и страшную модель сегодняшнего вечера, максимум – завтрашнего утра. Когда повсюду «проза» уже победила «поэзию» и поэтические группы, как и молодежные субкультуры, преследуются вооруженными отрядами берсерков. Когда демонстрантов расстреливают. Когда великого поэта похищают и пытаются насильно превратить в литературного негра... того, кто облечен высочайшей властью, имеет все (кроме таланта), но мечтает о славе поэта. Как выжить в этом яростно-ярком мире? Как дышать? Как любить и спасать? Читайте – и думайте сами. Инга Кузнецова – поэт и прозаик, переведенный на восемь языков мира, лауреат премий «Триумф» и «Московский счет». Автор пяти поэтических книг и нашумевшего романа «Пэчворк» (2017). «Промежуток» – второй роман автора.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-119810-7

© Кузнецова И. А., 2019

© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Бидермейер	7
1. Павел	7
2. Жанна	9
Жертвоприношение	12
1. Миша	12
2. Тень	16
Тромбоциты	19
1. Обед	19
2. Полицейские разговоры	22
Птичьи разговоры	25
1. Трель	25
2. Зяблик	26
3. Вороны	28
Несовместимость	32
1. Инга	32
2. Дарт	35
3. Инга	37
Лаборатория	39
1. Признание	39
2. Анонимное письмо	41
Подоплека	42
1. Безымянный палец	42
2. Ростовцев	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Инга Кузнецова

Промежуток

Жить – это так ярко и страшно, точно ни одной книги еще не написано.

Никем.

Точно никто не знает, как жить.

Точно все впереди.

(частный разговор)

Издательство благодарит фотографа Ольгу Паволгу за предоставленное фото (оборот форзаца).

Бидермейер

1. Павел

– Да брось ты эту мерзкую газету! Неужели тебе нельзя спокойно позавтракать? Без новостей? В семейном кругу? Неужели ты не имеешь на это права? М-м-милый! – прозвучало со сдерживаемой ненавистью – или мне так показалось. – Твой покой неприкосновенен! Твой бутерброд не может упасть маслом вниз, он же – ха-ха-ха – с икрой!

Перелистываю страницу. Ревнует к делам и пытается это скрыть. И ведь знает, что я не терплю этого манерного тона, этих раскормленных претензий на юмор. Даже когда мы одни, она не может отказаться от того, чтобы лишний раз не подчеркнуть мой статус и наше благополучие. К чему ирония, если ты упиваешься ими, черт возьми? Точно никак не можешь привыкнуть. Точно мы – из грязи в князи. А мы не из грязи! Мы из приличных семей, которые давно и прочно заняли свои плюшевые ложи в социальном театре.

Что касается моей депутатской карьеры, мне даже не пришлось особенно рвать жилы, чтобы подняться наверх. Никаких колосников, никакой акробатики. Планомерный подъем по лестнице. Вот дома могло быть и поинтересней. Немного кича не повредило бы этому бидермейеру.

А то и мебель в стиле бидермейер. И биде в стиле бидермейер. И Жанна в стиле бидермейер. Несмотря на все санкции. Мне скучно, бес.

По своей тщеславной глупости она не может понять, что гордиться нам нечем, и лучше молчать обо всем, потому что тягость и труд – это не подняться, а удержаться, и об этом не болтают. Над этим работают. Тихо, ежечасно, ежеминутно. Она не представляет, на что приходится ради этого идти, чем рисковать. Подняться – это как раз ерунда.

И как же не понять, что на самом деле все временно? В этом мире и на этой земле?

Я пытаюсь сосредоточиться на повестке дня, тщательно пережевывая кусок свежего багета. Самое распространенное заболевание парламентария – язва желудка. Благо общества заставляет понервничать. Только язвы мне и не хватало. Второй. Первая, не слишком болезненная, но порядком поднадоевшая – это Жанна.

– Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу...

Не выпуская «Ведомостей» из левой, правой я нащупываю пульт и включаю Первый канал. Я подсекаю псевдоаналитика Пупкина на полуслове, на пике его публицистического взлета. Пупкин, старина. В университете он был спортсменом. Занимался всем, чем только можно, и особо преуспел в невольной борьбе. Анализировать ни внутреннюю политику, ни международное право его никто не научил – ему было некогда. В таких случаях оценки представляют заранее. А вот теперь он выносит политические оценки. Держится глубокомысленно. Не заносись, брат, заврешься! Но нет. Пупкин рассказывает об успехах военноаграрного комплекса. Наш ответ Чемберлену. Наша гордость, наше ноу-хау. Сообщает о первых ростках боеголовки, всходящих на полях. Так сказать, мечом и оралом. Цитации и аллюзии. Кто ему пишет текстовки? Дать, что ли, задание Гнедичу переманить этих ловкачей в наш сектор? А то наши что-то всё дубово, прямо в лоб, фейсом об тейбл.

Ми-и-илый?

Какая интонация! Надо было тебе делать театральную карьеру, а не выходить за государственного мужа. Пупкин звучит убедительней. Только галстук у него дурацкий. Оранжевый с синим – это что за Валентино, контрастирующий с физиономией? Ну и рожа у тебя, Шарапов.

– Мне иногда кажется, что ты прячешься не только от меня, но вообще от всех за газетой, за экраном или за бутылкой, – в тоне пластик и оргстекло. – И твоя озабоченность судьбами народа, прости, – это такая отмазка от жизни с нами.

Ей удастся заглушить телящик. Я бросаю «Ведомости».

– Ты хочешь ссоры?

– Нет.

Светло-пустые, испуганные оленьи глаза. Дыша духами и туманами. Бледно-розовый пеньюар оттеняет китайский фарфор груди. Гейша, китайский болванчик. Она и сейчас еще хороша, хотя, конечно, не сравнить с той дурочкой, которой она была когда-то.

Не отличала «блэк тай» от «уайт».

– Где Михаил? Почему не за столом? Вы у меня дождетесь... – начал было раскручивать гнев, но не вышло (лень), голос увял. – Буду поздно, и не звони мне.

Нет, развод не выход. Безупречный имидж – это работает и стоит очень дорого.

Ни к чему портить. Легкий треск под ногой: скорлупа. Сбил с подставки. Фаберже в посудной лавке, черт побери.

В гардеробной – сонный Васька с четверговым костюмом. Зазевался, с ноги на ногу переминается, дурак. Все-таки Петр – более тренированный, ему и сбрасываю на руки шлафрок. Одевают вдвоем, так быстрее. Ваську для профилактики щелкаю по лбу.

Афанасий выносит ботинки, натертые беличьим лоском. «Тигр» подан, и Семен устанавливает бочонок сигнализации. Заседание через час, опоздание смерти подобно. Не успеешь оглянуться, как место, принадлежащее тебе по праву, занял кто-то другой – нет, не лучше, чем ты (ты же номер один среди идеологов нового поколения). Просто оперативней.

2. Жанна

Я и так знаю, что там пишут в этих новостях-ведомостях. Иногда мне кажется, что я вышла замуж не за человека, а за вектор развития и дальнейшее сотрудничество. И мне приходится существовать в формате. Ну что ж, почитаем. Ничего такого, из-за чего можно быть резким с женой.

Претензия и фальшь – вот на чем они специализируются. Грубо обесценивают частную жизнь. Похоже, она – единственное, что еще не испортили. Создать общество охраны частной жизни, что ли? Частная собственность охраняется, а частная жизнь? Ладно. В нашей семье общественный темперамент полагается не мне.

А Миша сказал: «Ты живешь за колбасу, мама». Глупо, жестоко. Ну какую колбасу?

Это же вредно, в ней столько добавок – даже в самой качественной. С моим мальчиком что-то происходит, он уже совсем отрывается от нас. Он от меня ускользает. В этом – ну хоть в чем-то! – они с отцом похожи. Тот ушел с потрохами в свои комитетские бла-бла-бла-дела. Но вот куда уходит Миша?

Выпить, что ли? Не хочу больше думать. Пусть все идет, как идет. Дела – это важно.

Ну ок. Авторитет – это важно. Ну ок. Ну что там у них, какие новости? Вот, газетка. Пишут: урожай сыроежек в этом году превысил норму. Ну и что это означает, в конце концов? Может быть, вообще ничего? Какая абракадабра! Где это я припрятала? Ага, заначка под пуфом.

Но каким из них? Тут – нет. Тут – нет. Тут!

Буль-буль-буль. Конечно, не стоило с утра. Но почитаем дальше. Ага, правительство выделяет дополнительные средства на укрепление границ. Плачьте, денежки налогоплательщиков. И что они там еще укрепляют? Там же уже все заминировано.

Об этом, конечно, не пишут в газетах, но в кулуарах-то говорят. А пишут вот, что дочь стекольного магната Фекла Блумберг блистала на олигархическом балу в нюдовом платье, расшитом кристаллами Свердловски. Вот! Первый выезд на бал! Та самая девочка!

А не рано ли? Из прошлой Мишиной гимназии, параллельный класс. Вместе ходили в кружок этих... как их там... софитов... то есть софистов. А потом началось... филиппика – так, кажется, они называли то, что он написал. Филиппика действующему президенту. Отца вызывали. Ох, я сочувствую всем участникам этого банкета. Дома у нас был полный привет. Цирк и фейерверк. Кузнецовский фарфор летал, подобно НЛЮ. Грохот, осколки... 14 лет! Он только паспорт тогда получил.

Все говорили: что вы, учебный текст. Написан по законам жанра. Но у отца всегда была хорошая реакция. Прикрыл эту чертову лавочку, учитель риторики ушел по собственному желанию с волчьим билетом, а Миша тогда под домашним арестом неделю сидел. Потом поменяли школу. Поменяли всех репетиторов и приоритетный вуз. Какие уж тут международные отношения? Нахулиганил малыш.

Миша, Миша. Кажется, все репетиторы сговорились покрывать его. Деньги берут, о неявке ребенка умалчивают. Или мне это кажется? У меня навязчивые идеи? Куда он уезжает?

К кому? С кем он и чем там занимается? У нас с отцом нет никаких рычагов воздействия. Никаких. Я надеялась на Феклу.

Я думала, она ему нравится. Пыталась приручить. Но когда она приезжала с отцом, Миша просто ушел к себе и заперся, невежливо так.

Иногда мне кажется, что он уже давно повесил на дверь своей комнаты табличку со словами: «Просьба не беспокоить». Табличку для всех нас. А сам в окошко – и был таков.

Где мой нежный ребенок, который тыкался мне в колени, смешил и заглядывал в глаза, чтобы удостовериться, что мне нравятся его шалости? Мне давно не смешно. Налью-ка я еще.

Если бы не новый закон, я бы так не дергалась. Но хотелось бы мне знать, о чем думает наш мальчик, когда его папа сотоварищи голосуют за закон о запрете молодежных субкультур. Многие только сейчас и узнали, что такое слово – «субкультура» – существует!

А к какой суб... суккультуре относится мой сын? А? Кто бы мне сказал?

Раньше все просто было: перекрасил волосы в зеленый цвет, проколол ухо в нескольких местах – и ты уже панк. А сейчас у них все скрытно, какие-то тайные жесты, знаки.

Мадлен меня спрашивает вчера: «Может, твой Мишка – донор для деклассированных? Бледный такой – встретила его на проспекте... А это карается, между прочим, дорогая».

Да, у нас любая забота о гражданах сейчас – жесткая монополия государства. Но нелегалы пытаются сдавать кровь, чтобы помочь бедным. Поговаривают, что это подстава, кровь не доходит до тех, о ком эти доноры беспокоятся.

Что все продают фармацевтическим компаниям. Не думаю, что Миша даром сливает кровь для кого-то, кто делает на этом деньги. Но лучше уж такое, чем литература.

Вот это самое страшное. Надо переболеть идеализмом, я еще могу это понять. Только не худлит! Сейчас, говорят, умудряются писать так, что читателю невозможно отличить добropорядочную прозу от опасной поэзии.

В некоторых школах, я читала об этом, начали вводить плановые прививки от возможных литературных опытов. Медицинские. Пишут: когда ребенок еще нетверд в жанрах и стилях, не может отличить прозу от поэзии, необходимо врачебное вмешательство. Вот до чего дошло! Но я боюсь, что может выясниться, что проза тоже губительна для детской психики. По крайней мере, я не удивлюсь, если признают, что это так.

Говорят, вся старая проза испорчена, задета поэтическим вирусом. Боже, как защититься, как распознать? Ведь мы не филологи.

Не филологи и не писатели, слава богу. Как нам быть? Говорят, что ученые разрабатывают алгоритм, позволяющий устанавливать поэтические следы. Да, да, школам срочно нужна дезинфекция. И если такими вещами занялось Министерство образования, значит, вся литература – сомнительное дело. Конечно, химия, прививки – это чересчур. Я как мать не дала бы согласия на такое. Но я считаю, что нужно усилить разъяснительную работу. Журналистика, злоба дня, идеология – вот достойная альтернатива. Гадость, конечно. Как всякое лекарство. Но худлит – это же загубленная жизнь! Если ваш ребенок задет литературой, то кто-то может посадить его и на самое страшное – жуткую поэтическую дрянь, чей вред для человеческого организма доказан. Я читала о последствиях и до сих пор не могу прийти в себя: асоциальность, бесплодие, ранняя глухота, потеря пространственной ориентации, идиотия...

Нет, нет!

Как ужасно это звучит: «стихотворение». Бр-р-р.

Лучше уж алкоголь, девочки-глупости, казино, долги – вот не думала, что когда-нибудь скажу себе такое! – в конце концов, мы с отцом всегда найдем возможность помочь, как бы он ни относился к этой помощи. Мы сможем вытащить его. Ведь мы его родители. Что угодно, но только не это.

Я боюсь за сына. Общество должно защитить от поэзии наших детей.

Жертвоприношение

1. Миша

Самое простое – это ежедневно собирать рюкзак так, точно ты уходишь навсегда.

Из школы, из дома. Маму немного жалко, но она больше ничего для меня не может сделать, да и не должна. Родила – и на том спасибо. Это трудно и действительно заслуживает благодарности, хотя я и не просил ее об этом. Чувствую ли я что-нибудь еще? Э, лучше не сейчас. Вот отца не жалко. Я знаю, не очень-то он меня хотел. Да и мама, может быть, сомневалась.

Но оставила. Зачем? Почему мы на самом деле ничего не выбираем? Может, я вообще не хотел быть человеком? Может, хотел быть камнем? Нет, не каким-то редким.

Я бы не хотел, чтобы меня использовали. (Ювелирное дело отвратительно.) Я готов быть брошенным камнем. Щебнем. Валяться в пыли. В траве.

Ненавижу нервные семейные завтраки.

У меня нет аппетита к вранью. Мой отец подлец – как еще мне приспособиться к этому факту, кроме молчанья? Я устал тренировать лицевые мышцы. Где-то это было: но лицо мое не мое. Но лицо мое не лицо.

Я не помню, с каких пор все это происходит. Что все свое я ношу в рюкзаке. Да и что тут вообще мое? Паспорт, записные книжки, томик Транстрёмера, найденный на пепелище районной библиотеки. Старая кожаная куртка Дарта. Подкладка под мышкой разошлась по шву, да и у воротника какой-то островок разреженных нитей. Люблю это. Слишком часто нам покупались новые вещи. Не успеешь оглянуться – все рубашки в шкафу другие, а носки у нас вообще принято выбрасывать в специальную корзину, чтобы Нюша снесла в церковный приют. Ночью. Все стерильно, чтобы никаких воспоминаний. Мама думает, что она религиозна. Знала бы моя бедная мама, как я мечтал ходить в обносках из секонд-хенда! Как я мечтал быть с так называемыми простыми людьми, как я хотел хранить память неизвестных, уехавших, умерших. Это сразу почувствовал Дарт. Заметил, как я смотрю на него и на куртку. Потрепанную, бывалую. Наверное, вид у меня был глуповатый. Как пишут в дурацких романах: разинув рот и во все глаза.

Куртка Дарта, чистый гранж. Братство, подарок. Я сначала не понял его, не мог принять просто так – он меня и видел впервые. Он смеялся: богатые тоже плачут.

Я хотел отдать ему скутер, айфон – да я все бы ему мог отдать. Дарт сказал: нет, это куплено на деньги твоего папеньки. «Прости, отца», – потом сказал. Он сказал: если уж ты не можешь понять, что «просто так» существует (учись, малыш), подари мне другое, нематериальное. Что ты там пишешь в своей псевдошкольной тетради? Прочти давай здесь, всем, для меня.

Он так сказал. У них была ерундовая туса – так, предместья. Они все тогда не поверили мне. Стояли с хмурыми лицами: желваки туда-сюда ходят, пальцы в карманах шевелятся, точно рукоятки финок удобнее перехватывают. Девушки раз – и в тень, а одна – нет, дерзко разглядывает, пренебрежительно. Красивая, сука, – подумал. Ну, я же не знал, что это она. Радужный прием оказали, ничего не скажешь – точно у меня на лбу написано «осведомитель». А Дарт – нет, не так.

Я не знаю, почему он все-таки не пустил меня ни к Переводчику, ни к Иностранцу, ни к Тихому, ни к этой Инге (вот тут, наверное, что-то «человеческое, слишком человеческое»). Ни к кому из учеников Метафизика. Почему Дарт вообще избегал говорить о нем. Всегда уходил от этого.

Может, считал, что мне рано? Ждал какой-то последней проверки? Прорыва, стихотворения? Надеюсь, что так. Не думаю, что ему нравилось манипулировать нами – неофитами, потерянными детьми, заблудившимися между обрывков уничтоженных текстов. Иногда мне казалось, что это какое-то его личное безумие: оберегать всех ото всех.

А в тот день, когда все собрались в подвале и я признался, что надпись была сделана мной, я использовал вечную краску, которой отцовские шоферы маскируют царапины его золоченой колываги, Дарт сначала долго смеялся – «Они ведь не отмоют!», – а потом уже смазал мне по щеке. «Что за трэш!

Тяжесть и нежность! Ты вообще понимаешь? Этой буржуйской дрянью, которой они красят свои унитазы? Да как ты мог!» – он взбесился, волосы взвились, зрачки сверкали. «Мы не красим свои унитазы. Зачем? Они же из чистого золота», – это вышло глупо и грубо, каюсь. Что за классовость на тебя накатила, дружище Дарт, дубина Дарт? Все средства борьбы хороши, разве нет?

А я, между прочим, прежде чем вывести надпись, стер со стены огромный слухой.

Удовольствие так себе. Тереть «Х», чьи верхние засечки где-то на уровне двух метров, не так уж и мило. Только все стены в этом районе испещрены или государственными мотивирующими граффити (еще та дрянь), или подростковым матом. Свободных не так уж и много осталось. Я подумал: переулок выходит к Центральному телеграфу, и это короткий путь. Люди пройдут и прочтут. «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы». Одну строчку, только начало. Я хотел поставить эксперимент. Я не знал, догадаются ли уже, что стихи. Дарт, разве ты не знаешь, что – какая разница чем, но – реальность нужно менять буквально?

В новостных сюжетах кривоватую фразу на гладкой стене крутили весь день, во всех школах объявили Час правды (катастрофическая гнусность): экспертиза только и смогла установить, что преступление было совершено рукой школьника. Я пишу разными шрифтами, я готовился. Знаю, Петрович краску не экономит – он не заметил пропажи. А если бы и заметил, не стал бы светиться. Никому не хочется потерять работу. «Рукой школьника» – это я слишком быстро клал мазки. Когда обнаружили, закрасить не смогли – все-таки химическая промышленность страны работает на совесть.

Отец когда-то говорил, что в чем в чем, но в химпроме отечество лидирует. Буквы проступали и проступали. Журналистам пришлось обнаружить все – ЧП, и т. и.

Решили устроить прецедент.

Что тут началось! Район оцепили. Полицейские, минобр, священники рванули в нашу образцово-показательную – и все на джипах с мигалками. Вот здесь мне и пригодилась тренировка лицевых мышц.

Я держался нейтрально. Директриса, заставив нас вымыть руки со священным мылом («Безупречная чистота ваших рук и ваших мыслей!»), потащила всех в зал для конференций. Лично стояла у девчонского туалета. Нас же проверял физрук. Нормальное мыло, кстати, антибактериальное. Ваши пальцы пахнут ладаном. Зал они чем-то тоже окропили. Потом была болтовня ни о чем. Потом показали расследование на широком экране, дураки. Выступали все по очереди, на фоне «тяжележности» зависшей. Здание потом, конечно, снесли. Но это было потом. А в тот день каждый первоклассник прочел мою надпись.

Когда-нибудь каждый вспомнит об этом.

Я бегу легко, не задыхаясь. Ежедневные пробежки удерживают странные вспархивания в сердце. Сиди там, птенец, и молчи, если это ты. Перепрыгиваю через ступеньки, коротко стриженный кустарник поместья, через дорожки, ямы и рвы. Полупустынная трасса. А что? У меня вид тренирующегося спортсмена, дорогой спортивный костюм и кроссовки. Хорошо, что я не отлынивал от занятий легкой атлетикой. Я спортивен и не вызываю подозрений. В школе каникулы, отец уехал, мама не будет шпионить за мной. Не позвонит дежурной группе. Они там в беседке режутся в преферанс, и пусть. А мама как будто бы за меня, хотя она не поймет. Остатки моего уважения – я знаю, ей это важно.

Через пару часов я буду на площади. Там, где позавчера взорвали памятник Дикому в желтом худи. Как я хотел бы изобрести свою лесенку, лестницу в небеса – в тексте или в жизни. Но я не он. И не похож.

Я похож на лохматого сеттера, нервного, что-то ищущего. Поджарый – так сказала Инга в электричке. Мы ехали на кладбище. Долго ехали на окраину, чтобы увидеть несколько свежих могил, выкопанных в ряд.

Я ни о чем не спрашивал. Из их пинг-понга шепотом понял, что это захоронение группы, которую собирал у себя Княжев. Старик, ученик Бродского, традиционалист. Тихий говорил ему весной обо мне, но я тогда к ним не поехал – стихи Княжева мне не зашли. Не поверил в него. Отдал должное, но не поверил! Не поехал, хотя мне дали адрес и сообщили время! Жалею об этом. Если бы я поехал, во время зачистки я был бы с ними – наверное, поэтому Дарт и Тихий и взяли меня на кладбище, помянуть тех и прибрать могилы. Старик, сказали они, умер сразу – обширный инфаркт. Остальных взяли. Оказавших сопротивление расстреливали на месте.

Мы ехали с бумажными цветами, которые накрутили из оберточной бумаги, оставшейся от какого-то глупого праздника. Сырье подбросил Тихий – он иногда подрабатывает клоуном в детском клубе. Мы приехали рано и бродили там весь день. Я разглядывал фанерные стенды, заменившие стелы. Я искал и боялся увидеть одну фанерку... С именем девушки в очках (у Тихого была слепая фотография: княжевцы пьют за дощатым столом чай с баранками, эта девушка разливает).

Дарт сказал: это библиотекаря. Работала неподалеку, в клубе железнодорожников.

Сказал: выдавала проверенным людям книги французских сюрреалистов. Откуда они были у нее? Кто привез их? Как мне их найти? Читала наизусть аполлинеровскую «Зону». В оригинале. Вот какие люди были там! Я чувствовал себя последним подонком. «Зону»! Я только слышал об этом, только две цитаты в сборнике рассказов нашел, но и этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать удар чешуйчатым хвостом. Скользнувшим хвостом чуда. Такое невозможно забыть. Я искал этот текст целиком, но никто мне не мог его дать. А она превратилась в него. Некрасивая, нежная... Нежное лицо за толстенными линзами. Как бы я сейчас хотел заговорить с ней!

Тогда, на кладбище, я в первый раз пил водку из пластикового стаканчика. Я думал о той девушке (ее могилу мы не нашли), о Княжеве, обо всех. Может быть, она спаслась? (Тихий говорил: нет.) Я должен был быть с ними.

Если бы меня не убили, я бы знал, что с ней.

Я бы целовал ее пухлый рот, глотал ее слюну, которой она смачивала палец, чтобы листать утраченное. Я бы пил ее голос, пропитанный сюрреализмом. Я хотел сказать это Дарту, но не

смог. Не мог говорить. Обратно они отправили меня на такси, матери я сказал, что встречался с Петровым, занимались алгеброй.

Дисгармонией я занимался. Почти не соврал.

Быть или забыть, сметь или иметь, мыслить или смылить это – вот в чем вопросы. Мою руки в туалете и покупаю мороженое на заправке. Эскиммо на палочке, набросок счастья, символ детства – не моего. Так символ или знак? Кто мне сможет это объяснить? Символ в жизни отличается от символа в тексте? Нет? Они слипаются или нет?? Все вокруг меня так запуталось, что, кажется, это первый вопрос, который я, однажды встретив того, кого они называют Метафизиком, задам со всем жаром и отчаяньем юности. Меня укачивает от вращения Земли. Уважаемый Метафизик, я, кажется, понял, что юность – самое трудное, самое жестокое время.

2. Тень

Я его узнал. Окно моей комнаты выходит в переулок, я вижу торец противоположного здания. Ранним утром я почти всегда лежу без сна. А тогда дворники еще не расшаркались своими метлами. Стояла inferнальная тишина, все смягчал туман. Не знаю, что выбросило меня из постели к окну, но там, у дома напротив, внезапно... В тот миг я понял, что барахтался в зияющем отсутствии Эм все эти дни. И вдруг! Его рассыпанные по плечам волосы, его длинные мышцы, его запястья! Ошибиться было невозможно. Когда он исчез из секции, все, связанное со спортом, для меня закончилось – я не смог имитировать интерес к волевым усилиям и скоростям. Тренер, помню, усмехнулся тогда: а ты тоже скажешь «спасибо, что научили меня бегать, теперь я буду разбираться, от чего»? Я не Эм, меня он не уговаривал. Ушел – и ушел. Особых надежд я не подавал.

Так значит, важнее всего знать не то, к чему ты бежишь, а то, от чего. Я запомнил это. Он странный, этот Эми. Эм, Эму. Эм У, Миша Ушаков. Имя и фамилия. Где он учится, выследить было несложно. Я не скажу ему, что молча слеую за ним. Он не выбрал бы меня, я знаю. Он не замечает таких, как я. Ему не нужно наше поклонение. Я понимаю, я тень.

Тени только следуют за людьми. Они не могут с ними заговорить. Вздернутый страхом-тоской, из-за занавески я молча следил за его движениями, его руками, отброшенными назад волосами – пряди закручивались, как спирали, каждая из которых походила на доисторический телефонный провод (такой мы видели в музее), как будто люди прошлого могли ему позвонить. Спортивный велосипед стоял, прислоненный к стене. Я оказался первым читателем надписи, странной, как все, что делал Эм. Сначала я не понял, что за это сестры, что за шифровка, кому она предназначена (не может быть, чтобы мне)? Но в пальцах возникла пугающая, все более разреженная легкость, и она расширялась и расширялась и стала в конце концов невместимой, и захотелось распахнуть окно, окликнуть Эм, втянуть его в комнату и прикоснуться горячей щекой к пахнущей краской ладони... Кому какое дело, что это значит? Сердце стало гулким, когда я увидел, как он оглядывается, а потом включился звук приближающегося автомобиля, и от ужаса зрение прервалось.

А потом я увидел, как Эм уже вырывается на трассу, исчезает за поворотом.

Автомобиль замирает в переулке, так и не приблизившись. Все закончилось, лишь позолота на серой стене.

Я опять потерял его, мое время остановилось. Каждый день, прогуливая уроки, я паломничал к его школе, пытаюсь реконструировать его маршруты. Но я всегда запаздывал – на шаг или на полшага.

Я не видел его много дней. Но едва наступило лето и полетел пух, эта чья-то разорванная в клочья тоска, как Эм материализовался. Вот он вынырнул из-за колонн Дома Союзов. Идет очень быстро, блики сомнений бегут по лицу. Я за колонной. Кругом толпы и толпы.

Черт, сегодня же этот дикий плебейский марш! Идиоты стекаются по Верской, идут с книгами, прибитыми к крестам, с транспарантами «ЗАЩИТИМ ВЕЛИКУЮ ПРОЗУ!» А вот и розовые растяжки «СМЕРТЬ ПОЭТАМ!» Они развешаны так часто, так тесно, что от избытка розовой смерти начинает тошнить. Поганое дело литература. Поговаривают, мы на рубеже гражданской войны. Хотя кто и с кем будет воевать? За что? «Великая проза» – это же прошлогодний снег! Она меня не интересует. За нее я не готов сражаться. Из всех искусств для

меня имеет смысл только кино. Что касается поэзии, я уже не помню, что это такое. Кажется, проходили в начальной школе. Сегодня она вне закона. Вне меня. Вне.

Пахнет дымом, благовониями, веселой травой. Люди идут и идут, точно выход на улицы может защитить их от фантома.

Лица торжественны и неподвижны – сами как транспаранты. Я следую за серебристым капюшоном. Эм почти бежит, поток несет нас к площади, и вот уже коричневый кордон, бронзовые латы, щиты, утыканные ножами. Толпы сминаются, выравниваются, пьются. Звучит смех, гомон, медные тарелки, ржавые трубы духовых оркестров. Самодеятельность – ну к чему это? Зачем тебе туда, Эму? Что у тебя общего с этими разгоряченными физиономиями, с этими раздутыми щеками, твердостью упрямых лбов? Что тебе до «судеб нашей литературы»?

Внезапно звуки всех оркестров затихают, и Верховный священнослужитель, облеченный в мантию из нетающей сахарной ваты, поднимается на алую трибуну вдалеке. Начинаются пафосные бла-бла-бла. Толпа встречает восторженным ревом каждую фразу. Поговаривают, что священнослужитель учился дипломатии за кордоном. Там его научили говорить так красиво, что отличницы нашей школы во время трансляции его речей падают в обмороки. Дуры! Кордон обнимает площадь, с которой столбом поднимается дым. Берсерки стоят разрезанно, наготове. Каждая рука скрещена с рукой соседа, каждая рука держит обоюдоострый меч (дубинки недавно заменили). Все уже знают, как хорошо он заточен – никто не нарываемся. В полицейские сейчас идут левши – это престижная и высокооплачиваемая для них профессия. Впрочем, и правшам при желании можно обучиться рубить/колоть двумя руками.

В промежутках между вооруженными фигурами можно что-то разглядеть. Вау!

В центре, на раскученном постаменте (здесь раньше был какой-то памятник – не помню какой) устроен настоящий жертвенник. Так вот откуда дым! Капюшон Эм в опасной близости от полицейских. Его фигура сжалась, как перед прыжком в высоту. Верховный призывает всех не терять бдительности, потому что враг всегда рядом. Ну ок. Цепочка девушек в бледных платьях, с золотыми рожками в волосах ведет к жертвеннику цепочку коз. Белых-белых коз на золотистых веревках. И тех и других по девять. Козы молчат. Первая что-то меланхолично жует. Кажется, что сейчас она выплюнет свою травину и скажет что-нибудь. Но нет. Священник предлагает всем возблагодарить Господа нашего за исчезновение поэзии и после очищения площади священным дымом отведать благословенного жертвенного мяса. Одобрительный гул толпы. В воздух взлетают шляпы, чепчики, панамки, бейсболки, тубетейки. И вдруг... серебряный сгусток вверх – это прыгнул Эм.

Он уже за кордоном, внутри кольца. Что-то кричит. Меня накрывает ужас, из-за низкого звона в ушах ничего не могу разобрать.

Люди волнуются, берсерки их сдерживают, не меняют дислокации. Священнослужитель (видно, как он побледнел, старческие щеки опали) шипит в микрофон: «Охрана! Взять его!» Но Эм несется так быстро, что руки охранников соскальзывают в потоки ветра вокруг него. Он совершает круг внутри круга, его лицо открыто, он кажется беспечальным, на шее болтается шнурок от портативного громкоговорителя (такие выдают в школах правофланговым), и до меня доходит смысл его крика. «Нас не уничтожить!» К своему изумлению, я слышу в толпе слабые отзвуки «что же», «то же», «о же», «о е».

Эм выкрикивает: «ПО!», «Э!», «ЗИ!», совершая почти полный круг. «Я» он почему-то смазывает. Захлебываясь воздухом, на бегу называет незнакомые имена – может быть, это имена поэтов, а может, их уничтожителей. Когда пришедший в себя начальник кордона сбивает

его с ног, перед тем как упасть, Эм успевает крикнуть: «Смотрите! Облако в штанах!» Что это, что это значит? Люди вздергивают головы вверх. По глянцевого смальте неба действительно движется лохматое облако, напоминающее очертаниями человека. Становится жутко. Сейчас случится что-то необратимое. Оркестры звенят. Растерянный священник стоит на своей многоступенчатой трибуне и заворуженно смотрит, как начальник охраны обоюдоострым мечом отсекает Эм руку по локоть. Публика смотрит тупо, как на киноэпизод, точно не верит, что все это действительно происходит. Эм хрипит. Черный громкоговоритель падает. Козы блеют и разбегаются, волоча золоченые веревки, выпавшие из ладоней схватившихся друг за друга девственниц. Любопытные, подсевшие на наркотик ужаса, просачиваются сквозь кордон. Зеваки и очевидцы. Лица людей пьянеют от крови и прямых солнечных лучей. Заносимые мечи бликуют. Верховный вздрагивает. Смятение толпы не остановить. Священник смахивает седые пряди, упавшие ему на лоб, точно отбрасывает наваждение; демонически-низкий голос исходит точно не из его утробы, а откуда-то издалека: «Вот она, священная жертва. Рвите его и ешьте! Он ваш, о люди!»

Безумие обрушивается на толпу. С Эм сдирают окровавленную куртку. Его убивают по частям. Я вижу лишь какие-то промельки, взмахи секир между широкими спинами берсерков, крепко стоящих на своих кривых. Повсюду паника, восторг сумасшедших, вой и блевота, громобой медных тарелок. Люди подбирают ошметки Эм, бросают на жертвенную решетку. Огонь терзает то, что минуту назад было человеком, а в эти секунды он еще, кажется, жив. Шипенье и запах крови, железа, крови. Охранники вытаскивают дымящиеся куски, вгрызаются в них желтыми зубами. Их теснят зеваки, тянут руки к остаткам тела, наконец страшный крак – и всё, кудрявая голова, залитая тоской, катится по ступенькам, но я этого уже не вижу. Я бреду прочь, не обращая внимания на тычки. Глаза мои закрыты. Да и есть ли они у меня?

Я больше не хочу, не могу смотреть на этот мир.

Тромбоциты

1. Обед

– Я должен тебя предупредить, – заметил тяжеловооруженный Старший, обращаясь к новичку, возникшему справа.

Мы стояли из последних сил. Приказ остановиться и подпирать собою рухнувший свод был отдан пару часов назад. Караульные ряды устали. Едва успели вытащить труп правого коллеги, погибшего на посту от базового переутомления, и бросить его в реку сосуда, как в образовавшееся пространство между Старшим и Ловким втиснулся невесть откуда приплывший юнец, который теперь легкомысленно поигрывал своим гиаломером, размышляя о преимуществах молодости. Лично меня, ведущего ремонтные работы в соседнем ряду, он не раздражал.

– Клетки в потоке. Наши задачи: следы и следуй. Если возникает опасность – повреждается свод, нужно своим телом закрыть разрыв, слипаясь с другими. То есть фактически стать фрагментом стены.

И немедленно начать плести укрепляющую сеть. Стоять, сколько потребуется. И потом потом перейти в иное качество. Раствориться, ясно? Наша служба включает в себя самопожертвование. Разве тебе об этом не говорили?

– Починка свода – это ясно. С соседями-то бывает нештат? – другой молодой, слева, даже не попытался изобразить заинтересованность и подавил зевок.

Нас всех здесь уже столько раз обрабатывали теорией, что объяснения Старшего с него стекли, как плазма с тромба.

– Это еще слабо сказано. Кровяные бунты – слыхал о таких? Бывает, что какие-нибудь дурачки, вроде тебя, восстают против своих функций. Отказываются затыкать собой дыры. Хотят путешествовать дальше. Выйти за пределы, как они говорят. – Странно, но Старший не разозлился и рассказывал это обстоятельно и спокойно.

– Бунты? Ну, это, приятель, сказано слишком сильно, – вмешался Левый.

Пока мы накапливались, казалось, Старший так и не привык к нему. Нас становилось все больше, но он по-прежнему держал небольшой зазор между своей оболочкой и телом Левого, хотя по инструкции всем полагалось тесниться пластинка к пластинке. Впрочем, проверять ряды сегодня уже никого не пришлют.

Голос Левого прозвучал вкрадчиво. Легкая угроза была спрятана очень глубоко, но она двигалась, и я ее расслышал:

– Как возможен сбой в столь безупречной системе, как наша? Не пугай малыша! Тебе уже скоро на покой, в рассасывание – а ему еще жить.

Старший помрачнел:

– Вы прекрасно осведомлены. Но у меня еще день.

Дерзкий «малыш» потерял терпение.

– Послушайте, – он позволил себе перегнуться к Левому, отчего весь пластинчатый ряд смялся, и Старшему пришлось дружелюбно толкнуться в его упругое тело. – Я такой же, как вы. Выполняю ту же работу. Побольше уважения, э!

– Вот и не зевай, смотри за проплывающими, – усмехнулся Старший, и юнец, успокоившись, замолчал. – В древности говорили, что если долго стоять на берегу потока, то можно увидеть, как мимо тебя проплывает труп твоего врага.

– Думаю, обойдется, – беспечно брякнул молодой впереди, которому мы тоже еще не дали достойного имени. – Да что тут может такого быть? Война?

– Все бывает.

– Вы участвовали в боевых?

– На войне не был, только слышал. Но драться приходилось.

Юнец, слегка выступив вперед, с уважением оглядел плоское тело Старшего, испещренное выщерблинами и латками, почти сплошь скрывающими канальцы и митохондрии.

По ряду держащихся из последних сил клеток прокатилась волна.

– С бунтовщиками?

– Потенциальными и вероятными.

– Наш старший коллега стал жертвой собственной иллюзии. Он так увлекался легендами, что начал воспроизводить их в реальности, – насмешливо послышалось слева.

– Вы идеолог, – презрительно бросил Левому Старший Страж, инстинктивно отодвинувшись от него и перехватив секиру, – а я практик, и знаю, что опыт работы и битвы – вот самое главное в нашем деле. Что же вас не поставили разрабатывать основные программы, а оставили цементировать пропасти? Почему же вам дали ту же простонародную работу, что и нам, смертным?

– Осторожней на поворотах, коллега, – жестко ответил тот, и стало заметно, что в его полупрозрачном теле что-то откладывается.

– Пошла писать губерния, – хмуро пробормотал Старший.

– Обед! Обед! – вдруг гулко прокатилось по кожаным рядам, и клетки вытянулись ровно, как на параде перед зрителем.

Из стремительного потока жизни, который мы ограничивали тесными рядами, образуя живой колеблющийся берег, начали выныривать краснорожие смертники с бурдюками, наполненными долгожданным обеденным раствором. Цепляясь за наши ноги, сохраняя кажущуюся

невозмутимость, несчастные разматывали гибкие трубки, подавая их нам. И пока мы прилаживались к отверстиям и жадно пили, раздуваясь от радости, смертники никли, бледнели и, в конце концов, обессиленные и обесцеленные, падали с опустошенными бурдюками и влеклись волнами всепоглощающей плазмы.

Размякнув, мы надеялись на заслуженный отдых. Но напрасно. Последняя катастрофа, которой так боялись поколения и поколения предков, внезапно обрушилась на наши сытые тела. Она оказалась куда страшней, чем легенды о ней. Не успев вдохнуть, мы распались, разрушили строй, обвалили свод, попадали в реку – а она оборвалась и —

2. Полицейские разговоры

– Что это было? Да я не знаю, бро. Какое-то безумие. Нет, ничего веселого. Давай-ка за нас. Чтобы их приказы были попроще.

– Ну, давай. – Дзик-дзик. – Хорошо! Холодное пиво, птички поют – что может быть лучше? Мы это заслужили.

– Еще как!

– Вот и расслабься.

– Фух. Но ты понимаешь...

– Забудь. Ну, за легкое сердце и короткую память! Будь!

– За короткую...

– Может, тебе на море? На недельку? До второго?

– Было бы неплохо. Но ты пойми! Это было под гипнозом!

– Опять двадцать пять.

– Они там чего-то распылили.

– Да верю, верю.

– Экспериментируют на нашем брате.

– Точно. Все так и есть.

– Я не хотел этого делать.

– Да ясное дело. А в Крыму сейчас жарковато. Но вот, например, где-нибудь под Калининградом...

– Но кого это волнует?

– А мы когда-то в Балтийске...

– Рубить – это ладно. Это по справедливости, так?

– Тут никуда не денешься, приказ есть приказ.

– Это же нештат?

– Да стопудово нештат.

- Но я же не каннибал, бро!
- А это еще не каннибализм. Хотя он у нас разрешен, да? Конституции не противоречит?
- Так-то оно так, но...
- А это не каннибализм. Это, как я понял, в ритуальных целях.
- Ты бы видел его. Пацан пацаном.
- Бро, это вопросы политики. Должен быть порядок. Он же был заговорщиком, не? Опасен для общества?
- Так-то оно так, но...
- Никаких но. Личность его установлена?
- Нам сказали: не ваше дело.
- Ясно. Под грифом «секретно». Ну и забудь.
- Думаешь, я не хочу?
- Давай-ка за отдых. За душевное лето. За тебя! – дзик-дзик.
- И ты не болей! – дзик-дзик.
- Ну спасибо. А то колени что-то стали шалить.
- Это все служба.
- Большая нагрузка. А приезжай на дачу, хочешь – с Оксанкой! Шашлычки замутим...
- Далеко у тебя? И речка есть?
- Сто первый километр. Не так уж и далеко. Речка – есть. Там все, что надо. Земляника, малина, грибы пойдут...
- Это хорошо.
- Вот и подгребай! Птички, речка, шашлычки... Слушай, это...
- Давай еще по одной.
- Ну давай. – Ч-чпок. – А все-таки как оно тебе...
- Ну давай! – Чпок, пшик. – За нас, за Россию! – Дзик-дзик.

- А все-таки какое оно? Ну, по вкусу?
- Оно?
- Да мясо. Ну... человечина.
- Тише, тише.
- Мне надо знать. Я из профессиональных соображений.
- Ладно, сейчас. Посмотри по сторонам.
- Никого.
- Наклонись-ка.
- Ага.
- Оно такое /шепотом/... незабываемо нежное. Я многое пробовал. Но такое...
- Ты серьезно?
- Цыть. И чтобы никому.

Птичьи разговоры

1. Трель

чив-чив-чинь-чинь

пиу-пиу

твинь-твиринь-тинь

чуврйу

фьюить

тень-тиринь-тинь

пиу-пиу

хьют-хьют

твинь-твиринь-пинь

фьи-фьи-фьи-тъя-тъя-тъя-твирьвирь-

чувррийу

2. Зяблик

Орнитологи думают, что мы издаем мелодичные звуки, когда нам необходимо привлечь внимание самок (возможно, так поступают сами орнитологи). Что мы это делаем лишь в расчете на спаривание. Лишь. Они присвоили себе смысл нашей жизни и логику наших повадок. Допускают в нас эмоциональное, но отказывают нам в интеллектуальном. Они полагают, что инстинкт правит нашим миром – такая у них привычка, навязанная им их подстреленным школьным образованием. Инстинкт и привычка – странно, но люди не замечают, что это события одного порядка.

Люди не предполагают, что пытаются расшифровать вовсе не нашу речь (которой они не слышат). Что так называемое птичье пение – это просто историческая звуковая реконструкция, тщательно воссозданные саундтреки стародавних времен – или тихая молитва, точный смысл которой уже никому из нас не ясен. Некоторые из нас таким образом лишь отдают дань древне-птичьим традициям (подобное происходит и у людей); другие и сегодня с помощью этих сигналов выкликают и заклинают бездонный космос. Они летят внутри странных звуков: «фьюить, фьюить» – и соединяются с бесконечностью.

Почему-то люди не допускают такое у нас. Они принимают это за коммуникацию особей внутри вида: например, пишут, что мы сообщаем птенцам о приближающейся опасности с помощью короткого «твинь» (будто мы почти не говорим с птенцами; будто у нас голосовые связки не приспособлены для развернутых разговоров). Другая группа ученых считает, что в этом случае мы издаем «хют» (хют твиня не слаще).

Орнитологи изучают наши тремоло, однако в состоянии различить лишь немногие звуки. Так устроен их слух – вернее, их предубеждение. На предубеждение настроены и записывающие устройства, которыми они пытаются схватить ускользающий звук. Орнитологи не догадываются о том, что между собой мы спокойно разговариваем о самых разных вещах, как и все существа. И вещества. Мы делаем это тихо. Очень тихо. А «фьи-фьи-фьи-тъя-тъя-тъя-твирь-вирь-чувррью» – это шутка для тех, кто подслушивает птиц.

Мы подшучиваем над орнитологами.

Шепчем им в уши: «чив-чив» или «пиу-пиу». Некоторые шутники даже передают целые шифровки вроде «хют-ррю-ррю, тют-тют-тют, сии-сии-бюз», что, по мнению людей, означает примерно следующее: тревога-тревога, внизу слишком опасно, поднимаемся и взлетаем; однако наверху тоже тревожно, будем бдительны и готовы дать отпор неведомому врагу. Неужели эта версия не похожа на человеческую жизнь?

Мы говорим обо всем, о чем думается и хочется, дорогие люди, – так же, как вы. Вороны, люди, собаки, камни, ягоды, струи дождя... – все мы говорим. И если мысли – это что-то, что не высиживают в гнезде, а ловят из воздуха, так неужели же они недоступны тем, кто летит? Конечно нет! (Конечно да.) Каждый язык – такой мерцающий, такой живой и совсем еще не окрепший. Он подобен вечному птенцу. Миры и миры распахиваются за любыми словами. Моими словами, даже если они не слышны. А я просто зяблик.

Я ловец зябких мошек и зыбких мыслей.

И это еще не все, что можно поймать на лету. Есть еще оптические эффекты. Странные совпадения. Знаки, промелькивающие тут и там, как легкие сны внутри скорлупы. Однажды

в полете я увидел, как молодая человеческая самка, сидя на парковой скамейке, записала у себя в блокноте: «сигнал непрерывного взлета» и ниже «у зябликов», и в зрачок мне кольнуло чем-то необъяснимым – может быть, тем невидимым клювом, который протыкает этот мир насквозь. Но я увернулся.

Почерк этой самки напоминал цепочку моих следов. Фигурально выражаясь, она писала птичьим языком (орнитологичная шутка, не правда ли?), но из деликатности я не стал читать то, что, возможно, звало меня, пробиваясь сквозь плющ волнообразных зачеркиваний. Может быть, я бы все равно ничего не понял, хотя практически все слова, которыми пользуются люди, мне известны. Я подумал, что передо мной – какая-то особая шифровка той трели (с росчерком), которую они иногда способны выдавать – неизвестно зачем.

Не когда они хотят кого-то привлечь, а когда не могут ни с кем говорить. Я увидел, что человеческая самка сделала это без расчета на чье-либо понимание, и не стал заглядывать за плечо. У людей, как и у нас, трели чаще всего выдают самцы. Так сложилось.

Но и самки иногда решаются на это.

Они были так грустны и звучали на такой частоте, которая очень редко задействуется людьми, и не требовали понимания. Ни эта музыка, ни эта девушка.

3. Вороны

- Ты видела, как его повели? Нет, ты видела?
- Рано утром это было, ага. Поливальная машина еще не прошла.
- Ненавижу.
- Шофер всегда пьян, поливает лужи, оставляет дорожную пыль за собой. Как я тебя понимаю.
- Но как они его взяли? Неужели он не догадывался? И не мог куда-нибудь скрыться?
- Кара, кара. Она всегда неожиданна.
А он уже не подлётток, слишком медленно передвигается на своих двоих. И потом: куда он от своих книг? Ты заглядывала к нему в кабинет? Нагромождение это видела?
- Да видела. Пролетала мимо. На карнизе не засиживалась. Скользко, особенно зимой.
- Согласна. Не наше это дело – эквилибристика. Пусть синицы у людей еду выклянчивают, ну или эти олухи царя небесного – голуби. Один там у него все время ошивался – ну ты знаешь, больной, хромоногий.
- Он трехпалый. Впереди одного пальца нет.
- Точно. Но знаешь... и мне случалось бывать в гостях у того человека.
- Прямо в комнате? Да ты что!
- Когда к нему приезжали знакомые, и все выходили курить на балкон. Конечно, я была осторожна.
- Еще бы! Без приглашения!
- Мне даже удалось стащить бутерброд с колбасой...
- Ты в своем репертуаре.
- Не бог весть какой колбасой, но чтобы не утрачивались навыки.
- А пуговицу где нашла? Перламутровую?
- На столе у него, под лампой. Он на нее часто смотрел, будто бы разговаривал с ней. Или сам с собой.
- Знаю. У них это называется: реликвия. Важная для человека вещь, связанная с прошлым.

– Прошное – вот я и взяла.

– Свистнула!

– Зачем ты так говоришь? Это для музея. Прошное – к прошлому. Между прочим, вещица – настоящий винтаж. Сейчас здесь уже такое не делают.

– Никогда не делали. Это от платья. Что, думаешь, я не знаю, что его носила та девушка, которая к нему приезжала?

– Да, конечно. Не волнуйся. Уже не приедет. Да и его не выпустят, если уже не того. Не пустили в расход.

– Как ты можешь такое говорить!

– Ну, во всяком случае, она не приедет.

Я видела, он получил от нее письмо. Давно это было. Дымил всю ночь. Порвал его, а потом заклеивал такой липкой лентой... узкой.

А широкие липкости они развешивают, чтобы ловить мух.

– Зачем им мухи? Они же их не едят?

– Не знаю. Люди любят убивать.

– Да ладно, этот и мухи не обидит.

– Вот его и взяли.

– Но пуговицу ты стащила раньше.

– Я не жестокая. Конечно, потом. Не хотела, чтобы она ему напоминала все это.

– Платье продавалось в магазинчике через дорогу.

– У нас?!

– Они оттуда выходили как-то – и вечером она пошла с ним в кафе в этом платье.

– А ты тоже не промах!

– О чем ты?

– Ведешь расследования. Просто Шерлок Холмс!

– А кто это?

– Не важно, проехали.

– Пуговицы блестели... Теперь там сделали склад оружия.

– Вот это знаю. Ничего интересного.

– Да, были времена... Красивое платье, человеческого цвета. У них тела такие. Тонкое платье. Голое. Шелк, да? Пуговицы часточасто – и заканчиваются высоко. При ходьбе все ноги видно.

– Ты считаешь, она красивая?

– Худосочна, но может быть... а впрочем, человеческих мерок нам не понять.

– А мне она не нравилась. Мерзавка носила такие серьги... с перышками. Ради них замутили кого-то из наших.

– Может, просто кто-то подобрал потерянные – мы ведь тоже так делаем. Надеюсь, ни одна птица не пострадала.

– Не поручусь. Странная самка. Нечеткая какая-то.

– Да, что-то такое зыбкое в ней было. Правда, я и видела ее всего пару раз.

– Ясно. Уже не увидишь. Она его бросила.

– Может быть, но все-таки его жалко. А что случилось?

– А ты не видела? Они не пара.

– Да нет. Они хорошо смотрелись. Узкие, длинные.

– Ты не понимаешь. Молодая самка, ей были нужны птенцы. А чем они занимались? Какие-то бумаги перебирали все время. Его бумаги. Кричали, но явно не в любовном пылу. Ты хотя бы раз видела, как они спаривались?

– Что ты! Подглядывать бы, как некоторые, не стала. Что они, подопытные?

– Ты меня осуждаешь?

– Нет, но...

– И что-то я не верю, что эти люди вообще начинали вить гнездо.

– Ты знаешь, куда его увезли?

– Мое любопытство не простирается так далеко. Может, сразу на кладбище?

– Голуби знают точно.

– Ладно, потом их расспросим. А сейчас полетели к булочной.

– К «Братьям Караваевым»? Вчерашние пирожки?

– Ага.

Несовместимость

1. Инга

Дарт приехал поздно, в сумерки. Они были искусственными, как многое у нас (но чтобы сказать это с полной уверенностью, понадобилось бы отыскать за диваном учебник физики или, по крайней мере, вспомнить, что он давно выменян на детский крем, без которого руки так сохли, что у меня не получалось переворачивать страницы).

Стала в проеме входной двери.

– Что-то случилось?

– Проволочный человечек...

– Привет. Что случилось??

– Я сделал тебе овощное рагу.

– Отдай врагу, – и тут же устыдилась глупой шутки, и почувствовала, как загорелись скулы. Кончики ушей сразу захотелось потереть. У меня аллергия почти на все, даже на собственную грубость, и это смешно. – Не обращай внимания, я туплю.

Странно было смотреть, как растерянность переливается под кожей резкого лица – вместо желваков. Потом он зачистил, будто оправдываясь:

– Я перед выходом. Баклажаны, кабачки, помидоры, лук, чеснок. И болгарский перец. Чили я не клал. Я все помню. Тебе нельзя.

– Спас... – и осеклась. Растроганно, раздраженно – сразу. Все это уже вышло за рамки нашего дружеского договора.

– Знаю, что ты сейчас скажешь. – Голос его вибрировал – от сдерживаемой надежды, что ли.

– Хватит! – это получилось жестче, чем мне хотелось. Потому что тело перебросило вперед, и слово вышло на выдохе.

– Ты скажешь: так мы не договаривались.

– Уезжай.

– Впусти.

– Не заставляй меня делать тебе больно, Дарт.

– А я хочу. Мы давно не виделись.

– Нет.

– Почему?

– Ты знаешь.

Шипящие все смягчают, а русский перенасыщен ими, растворяя горечь в шорохах и шелестах.

– Хочу услышать это от тебя.

– Да что мне сделать, чтобы больше не оказываться в такой ситуации??? Я. Тебя. Не. Люблю.

Необратимо. Ослепительно-белый холод заполнил все. Светлые ресницы (мне не хотелось смотреть) все-таки дрогнули.

– И не рассчитывал.

– Прости меня, Дарт.

– Конечно.

– Но сил на беседы нет.

– Я покормлю. Все будет хорошо.

– Нет.

– У меня есть для тебя инфа.

– Ты от...

И ладонь, пахнущая дорогой, накрыла рот.

– Не здесь.

Оторвав от косяка, перебросил меня на плечо, как длинное полотенце, и шагнул в прихожую.

– Закрой балкон, – тихо и властно сказал.

Подчинилась.

– В ванную.

– Это уже насилие, не?

– Не. – Улыбнулся и стащил с себя горб рюкзака. – Так у тебя можно вымыть руки?

2. Дарт

«Бог тревог... мой бог тревог», – бормочет за спиной, пока я держу ладони под струей воды, пытаюсь отформатировать то, что хочу ей сказать. Мои аргументы должны быть единственно точными – а ведь она упряма, как строй строптивых. Но я буду точным. Она встревожена до крайности.

А я пройду, как иголка – между долевого и утком. Я буду братом. Тысячей нежных братьев. Не прикасающихся. Я вытащу ее. Ладони слиплись в воде. Не трогать. Кожей спины я слышу дыхание легкого тела, колебания выпуклого и вогнутого, и это волнует до тьмы под веками, до тошноты. Мне приходится прижаться к низкой фаянсовой раковине, чтобы сдерживать эрекцию. Прохлада и твердость фаянса сквозь грубость джинсовки. Неизвестно, кто тверже – я или он. Теснота убогой ванны с отклеившимися тут и там обоями. Надеюсь, эта тщета/нищета означает отсутствие прослушки. Надеюсь, у них по крайней мере есть вкус. Что им слушать – ее стоны, чье-то рычанье? Мне становится душно. Он любил ее здесь. Я любил ее здесь.

...Я помню, как до всего (я привез, она плакала, говорила о нем, дрожала, спотыкалась и падала из одной моей ладони в другую, уменьшалась и падала, как комочек мокрого пуха) мыл ее в этой старой ванне со сломанным душем. Она замерзла, ей был нужен горячий душ – мне, конечно, холодный. Но душ вообще не работал, поэтому сначала я заткнул ванну и пустил горячую воду.

Я тихо раздел ее до детских каких-то трусов (взрослые женщины такое не носят: смешной размер, снежинки по серому полю, такой тонкий трикотаж, что я сразу подумал – контрафакт, у нас такое не производят), поднял и поставил на поржавелое дно. Зареванная, она была тиха и послушна – доверчива или просто безвольна. Как бы то ни было, это делало меня свободным. Абсолютно все зависело от меня. Вся ответственность за все существа, все планеты всех солнечных систем в тот день лежала на мне.

Я мыл ее, стараясь избегать не опосредованных мочалкой прикосновений. Она была совсем слабая, гуттаперчевотряпичная, и голова будто алкогольно клонилась к складному плечу. Бедерные косточки торчали так, что я мог бы схватиться за них, как за поручни, притянуть... как прекрасно было бы притягивать за них и пить. Всё там пить. Смотреть было страшным головокружением, растянутостью сдерживаемого броска – но ничего такого делать было нельзя. Только мыть ее и смотреть, желать и жалеть, отдавать и не брать. Я был тогда вполне за бортом – ванны ее и жизни ее – в джинсах, уже тоже мокрых, только рубашку (зеркало запотело от пара) сбросил. Она так плакала тогда, и я не мог. Она была такая рваная, с неровными краями – странно думать так о девушке, не о ране. Так раскрыта и так близка. Было нельзя.

Но я не мог оторваться от нее и не растирать ершистым пучком мочалки, не поворачивать телесный гуттаперч, не смотреть на прозрачное, на серо-голубые жилки, синяки, испуганную подростковую грудь с втянутыми сосками. На пупырышки холода, крупу родинок, все это нежно-круглое, переходящее в длинное и тонкое – маленькое, упругое и круглое в сочетании с длинным. На близкий холмик лобка, обтянутый мокрой тканью, и линии, которые вели к нему и расходились от. Я так бесконечно хотел ее, что и мыть мог бесконечно. Ванная почти набралась, и я посадил ее на дно, она разогнула колени, стройные ноги вытянулись, и я, подерживая, осторожно опустил ее затылок на край, длинные спутанные волосы колебались в воде, как водоросли. Я нашел шампунь среди почти пустых бутылочек. Запах вишневой коры,

лепестков. Свежий и горький. Так примерно пах мундштук чьей-то трубки, я не мог вспомнить чьей. Запах юности и забвения.

И тут, вместо того чтобы сорвать с себя шкуры и прыгнуть к ней, подтверждая догадки Дарвина и подняв девятый вал хлорированной, и водить по бледному телу, поднимаясь к лицу, тем во мне, что сейчас так требует нежной пытки с нарастанием ритма, как в равелевом болеро; оседлав грудь, упереться коленями в плечи, и удерживать голову жадными руками, и трогать прекрасное в его беспамятстве лицо каучуково-твердым, пока она не потеряет сознание, и тогда быстро разомкнуть вишневые губы и...

я этого не сделал. Я склонился над ней и, дрожа от нежности, мылил глупую ее голову и мягкие волосы. Это было безмятежное ощущение, очень. Ладонями я слышал все ее горькие мысли, затихающие и вялые, пока они совсем не сошли, как городская пыль. А потом я вынул ее из ванны, растер полотенцем, завернул в махровый халат, отнес в комнату, уложил в кровать и тщательно укрыл, подвернув одеяло под холодные ступни.

Нашел свою рубашку и уехал.

3. Инга

Стало так пусто и стерто, точно ничего не осталось.

– Говорим, пока бежит вода, – это он четко и уверенно. – Здесь тоже может быть жучок.

– Но ты же от В., Дарт? Что с ним?? Он не выходит на связь.

– Инга, – Дарт перешел на шепот, и мне пришлось почти лечь животом на склоненную спину, устроив подбородок на его плече. – Его уже взяли.

– Нет! Не может быть, – и уже реву.

– Тихо, – он говорит так спокойно, точно заранее предвидел и обдумал все. – Побереги силы.

Этого не может быть. Нас, но только не его. Не Метафизика. Не Упрямое Дерево.

Не Нежного Умника, не Узловатое Корневище. Все смешные и ласковые прозвища, рожденные между нами, они арестовать не смели.

Не номинанта же на Нобелевскую премию, в конце концов! Казалось, власть даже гордится им. Нам, ученикам, так казалось. Его стихи переводились на европейские языки, ему разрешили преподавать, ему присылали приглашения на встречи в Кремле – я видела собственными глазами. А уже начиналось крещение в сортирах. Уже памятник Пушкину избili молодчики в форме футбольного клуба «Спартак», уже неизвестный безумец выстрелил в голову памятнику Мандельштаму. А может быть, тогда его уже снесли, установив на постаменте вытащенную из запасников истории бронзовую фигуру Феликса Э., и ночью на его позеленелые сапоги приходили мочиться бомжи из тех, кто посмелее – они приторговывали днем макулатурой со свалок и еще могли предложить в пыльных пригородных поездах томик Омара Хайяма с залитыми кофе или пивом страницами...

Центральные СМИ уже начали ежемесячные бомбардировки социологическими данными центра Левады: мол, менее 0,05 процента населения планеты интересуется феноменом поэзии, мол, увлеченных этим видом плетения словес куда меньше, чем тех, кто владеет техникой плетения макраме, – а Метафизика еще звали в Кремль.

– Ты врешь, – губы мои дрожали, но в мозг вошел заржавленный клинок упрямства. – Арестовывать его было бы глупо. Он не давал интервью, не подписывал протестных писем. Читал лекции о прозе – ведь ему давали же это делать, да? Они же заставили его выступить по радио, помнишь? Ведь он же сам однажды сказал об окончательном торжестве прозы, об эре прозы? Помнишь? Ведь он тоже зачем-то начал об этом говорить? Ты что, забыл, почему я ушла?

Дарт притянул за плечи, наклонился к уху. Горячее дыхание обожгло мочку.

– Как... ты... наивна.

– Но он же знаковая фигура. Мировая общественность...

– Не пори чушь. – Крупные губы, крупные слова. – Мы живем в закрытой стране, его взяли, а сейчас идет охота за нами.

– Ты манипулируешь мной. Не смей! Ты не из нашего круга! Ты никогда не любил его, – бросила я жестко, защищаясь от наползающего ужаса. – Ты ничего не понимаешь в литературе!

Стерпел и это.

– С моей идентификацией разберемся позже. Думаю, у нас только час на еду и сборы.

– Я никуда не поеду.

– Ты что, не смотрела новости?

– Я продала зомбоящик.

– Интернет уже отключили?

– Да.

– Понятно. И ты не покупала «Известия»?

– «Не читайте советских газет».

– Напрасно. Сегодня во всех новостях обсуждается смерть.

– Чья??

Стало так жутко, как в триллере самой лучшей пробы. Тишина, и вдруг капля воды разбилась о фаянсовую раковину.

– Что ты хочешь этим сказать... – прошептала я.

– ...последнего большого поэта и официальный конец поэзии. Уже начали готовиться к похоронам. Воют на всех углах.

Я сползла на пол и в отчаянье обхватила его ноги в старых джинсах, пропахших жженой резиной.

– Не плачь, тут что-то не так, – это уже почти беззвучно, вместе с жаром выдоха. Поднял меня и встряхнул. Я была как вязанка дров. Разболтанная. – Они врут. Это значит только то, что его арестовали и прячут. Для чего-то он еще нужен, и, спрятав тебя, я узнаю все, что смогу. И потом мы его вытащим.

– Дарт?

– А теперь в темпе жрать. Договорим по дороге.

И вот тут у меня и хлынула из носа кровь.

Лаборатория

1. Признание

Мне страшно говорить с тобой об этом, но я усомнился в том, что тот, внутри которого существуем все мы, действительно един, что он начало и конец и за его пределами нет ничего, кроме пустоты. Нам столько говорили о нем, но я больше в это не верю и должен сказать о моих сомнениях тебе, единственной пластинке, которая для меня сейчас, может быть, важнее этих мыслей, – должен сказать, иначе наше общее существование нечестно.

Я все время думаю об этом после того, как столкнулся с тобой и несусь рядом с тобой в нашей разноцветной реке. Наше настоящее предназначение в этой странной жизни мне по-прежнему неизвестно, а предназначение в смерти оставляет меня холодным: понять его можно, но не вобрать в себя. Послушай, я сейчас попытаюсь тебе объяснить. Это самодельная философия, и прости, что я тесню твою милую оболочку такой тяжелой фигой.

Прости. Но ты со мной, а я не хочу быть для тебя непрозрачным. Давай поговорим, пока все еще существует, как есть. Из поколения в поколение старейшины передавали нам истину о долге смерти, о радости смерти, о логике смерти: сначала слипание, потом мутация, потом растворение – и более ничего. Они внушали, что смерть клеточных и подклеточных существ – это проникновение в высшее благо. Что растворение в Едином и ради него – самое прекрасное, и более никто из нас не может ничего ни знать, ни желать: ни грубые красные, ни коварные белые, ни мы, бесцветные. Мы несемся в общем потоке, у нас встроенные клеточные программы, и не стоит задаваться вопросом, почему они таковы и когда им предназначено активироваться, чтобы наша смерть на благо Единого исполнилась правильно и до конца. Мы летим/плывем и вдруг потом останавливаемся, подпираем свод, слипаясь друг с другом, сдерживаем напор потока и перестаем быть пластинками – вот и всё. Но пока мы пластинки, пока летим и пока мы рядом,

Т 3984521, я надеюсь успеть сказать тебе то, что понял. Оно выходит за рамки преданий и норм. Ты же это выдержишь, правда?

Понимаешь, я думаю... что на самом деле Единый – не единственное божество.

Что есть другие, подобные ему. Как мы подобны друг другу. Звучит диковато, да?

Но что, если божеств мириады, и в каждом мириады пластинок и клеток? Если божества сталкиваются, соединяются и несутся вместе в русле какой-то непостижимой реки, как мы – в гигантских притоках, извилах, излуках?

Что, если эти наши притоки не бесконечны, если они ограничены оболочками отдельных божеств? Если эти божества все вместе существуют внутри какого-то иного, невероятно огромного божества? Но и он не одинок, и так далее?

Да, доказательств у меня нет. Мы можем только догадываться о запредельном бытии богов. Ведь мы не выходим за границы своего: если это произойдет, наше существование лишится защиты и бесцельная смерть наступит мгновенно. Может быть, наш кровоток сам по себе и есть наше время, ты об этом не думала? А у богов – свое время?

Я согласен: мгновенная глупая смерть – это просто гибель. Если я погибну, не исполнив своего предназначения, своей/общей слипательной работы, то все, что было с нами до, тоже будет обесценено.

Стражи рассказывали о пустотных существах, сгорающих просто так, не могущих ничего. Может быть, они такими родились – а может, просто разуверились в своих программах.

Но они не осмелились их изменить. Послушай, дорогая пластинка, ближе тебя у меня сейчас никого нет. Я хотел бы спросить тебя: может быть, ты тоже хочешь узнать хотя бы что-то о том, что за пределами нашей реки?

Прости, я пугаю тебя. Ты хотела просто быть рядом? Я понимаю. Но давай хоть раз подумаем об этом. Когда обвалится свод, думать будет поздно. Тогда понадобится вся наша стойкость. Тогда мы слипнемся и станем заплаткой берега. Но, может быть, у кого-то получится выйти из ряда, выйти вон и узнать нечто большее.

Этим «кем-то» мог бы стать я. Прости меня, дело не в стремлении к разлуке.

Иногда мне кажется, что невыносимо острое любопытство к нашей участи и возможным иным мирам, пока я о них молчу, накапливается во мне так быстро, что скоро обратится в нелепое и дерзкое действие. Я со всеми об этом молчу, молчал и с тобой. Я касаюсь тебя, ободряю тебя в нашем общем движении к концу. Это и есть наша жизнь. Но только ли? Какие еще возможны варианты? Иногда мне кажется, что я не выдержу и прямо сейчас нарушу программу. Сойду с ума, изменю курс, несмотря на стены и стражей. Ради тебя и ради всех. Если хочешь, давай со мной.

Ты боишься, что так мы умрем быстрее?

Не факт. Нарушим привычный ход явлений? Волю Организма? Но что такое наши собственные воли? Мы не знаем.

Просто отдаем их общему потоку, общему ходу вещей – как позже отдадим ему все силы. Любимая! Я хотел бы оставаться с тобой, рядом с тобой, бок о бок стоять и растворяться в смерти. Но меня влечет боль безрассудства, тоска любопытства и то, что они, скорее всего, так и не будут утолены – я не успею отключить программу моего предназначения и выработать новый алгоритм движения, – все это повергает меня в смятение, ход общего движения прерывается на микромиги, нарушается из-за моих мыслей. Пока мне удавалось скрывать их, мгновенно подстраиваться и плыть, как все. Но сомнения зреют, и вместе с ними – решимость действовать. Иногда я сомневаюсь даже в том, что я тромбоцит.

Т 3984521! Прости. Не спрашивай меня, откуда мы приходим, куда летим и каков наш срок. Нам это говорили, но я не верю в логику преданий. Точных ответов у меня нет. Я усомнился во многом. Знаю только, что мы приходим из каких-то недр небытия и в них должны вернуться, став материалом для других обитателей этого мира.

Но я не хочу возвращаться. Я хочу понять, есть ли что-то вне. С тех пор, как я врезался в твоё прекрасное тело в нашей общей реке, я чувствую себя все дальше от общего.

Я чувствую себя слишком живым для того, чтобы рассчитывать время жизни. Я готов рискнуть. Если ты не хочешь со мной, мы расцепимся сейчас, не волнуйся и не жди меня.

2. Анонимное письмо

Он пытался подговорить меня и других на мерзкое дело, которое... которое... иначе как бунтом и не назовешь. Да, он готовит пластиночный бунт, и сейчас ему нужны союзники – по крайней мере, те, что смогут его прикрыть, когда придет стража. Он успел смутить многих, и они будут молчать о нем, даже если вы пригрозите их уничтожить.

Они считают его героем. Его поддерживают несколько отрядов Эритро и Лейко и отдельные представители других клеточных видов. Многие, с кем он общался, подпали под обаяние его вольнодумия, увы – и это лишний раз говорит о нечеткости работы всех систем и требует урегулирования.

Я расскажу все, что знаю о нем, – и прошу учесть это в ведомости. Надеюсь, добытые мной сведения и мои скромные соображения окажутся достойны небольшой награды.

Я хотел бы увеличения обеденной дозы клеточного раствора на тридцать процентов. Мне кажется, это вполне адекватная просьба – нет, не предложение, не сделка, а именно просьба. Я не торгую информацией. Я и так бы вам все рассказал. Я верю в безупречную логику нашей системы.

Этот тромбоцит – ущербная пластинка.

У него подтерта запись общего замысла. Его план таков: ждать тревоги, ждать приказа, ждать возникновения трещины в нашем мироздании, в теле великого божества, которого мы называем Организмом. Удержаться от восприимчивости приказу.

Не вставать вместе с другими, образуя фрагмент первичного свода и дожидаясь подкрепления. Не принимать новых стражей, трамбуя ряды. А уговорить товарищей и пройти вместе с ними в разрыв – вовне – в пустоту. Пока трещина не затянулась с помощью прибывших отрядов сверхсрочных.

Думаю, он мечтает понять суть пустоты, обволакивающей наш мир. И даже более: найти там нечто иное. Вы скажете, что я тоже заражен крамолой? Нет-нет-нет, что вы! Поверьте! Я как раз понимаю невозможность этого. Но чтобы понять вражескую логику, необходимо выявить вражеские представления. Разумеется, я считаю, что за пределами нашего мира, за пределами нашего Организма вообще ничего не может быть – даже пустоты. Потому что пределов этих нет.

Разрешите мне обезвредить его немедленно. Пока еще не поздно. Пока он не испортил замысел. Служу Единому Организму.

Подоплека

1. Безымянный палец

Умудрился порезаться, дотронувшись до стопки старых черновиков. Пора уже ему их перепрятать. Чернила выцветают, краска принтера осыпается, как траурная пыльца.

И все это оседает на мне, на братьях. Вся эта ложь, пустая игра. Ранить, хранить, хорошо. Профессор вчера был в гостях и в ударе, съязвил: «Трое в лодке, не считая Харона», – но хозяева переглянулись испуганно: уже не смешно. Он и не шутил (мне ли не знать). Когда он шутит, он отпускает нас прогуляться, размахивает нами в воздухе. А тут мы были крепко прижаты друг к другу, согнуты в три погибели. Мы были под столешницей. Нет, он не шутил. Он просто не может отказаться от привычки высекать смыслы из всего, даже из простейших лингвистических ассоциаций. Тяжелая логорея.

Страницы ранят нас по-разному. Меня как бумага, его – как текст. Будь же мужчиной, профессор: эта рука давно отрезана, ты и мизинцем на ней не можешь пошевелить. Оскорбительно, насколько это было легко: крошечное усилие над собой – и он отказался от литературы, мутировал в достойного представителя «британских ученых». Критиков, экспертов, литературоведов. Знатоков. Тех, кто о.

Тех, кто паразитирует на гнилом теле современника или ползает в пыли перед трупом классика, ненавидя и преклоняясь. Он умен и все понимает. Хотя, конечно, что такое литература? В сущности, это же кошмар. Отвратительная битва пишущего с самим собой, автора с персонажем, прозы с поэзией, буквы со звуком. Указательного и большого пальцев, держащих ручку. Мне легче – я безымянный. Я не тщеславен.

Он не учился печатать десятипальцевым методом. Я почти не работаю – это превратило меня в запутавшегося Диогена, только без фонаря и бочки. Местного разлива, конечно. Однако этого разлива достаточно, чтобы объяснить, почему битва выведена за скобки текста, на улицы и на площади города. Я понял: литература – это апокалипсис с субтитрами (дарю, Профессор). Додекафония для глухих.

Ну и черт с ней.

И все-таки мне стыдно, что для нас с Профессором роман с литературой закончился раньше, чем это было необходимо для биологического выживания всего профессорского организма. Об этом не знают. Когда его приглашали выступать в концертные залы, на кафедры, он читал свое старое, юношеское, выдавая за новые поиски – за свежак. Я-то помнил, когда писались эти стихи. О, я любил выступать вместе с ним, в нетерпении постукивая по кафедре и толкаясь со средним братом. Я был убедителен – о, еще как! – я был обаятелен. Мы ездили по городам и весям. Создавали имитацию непрерывной работы. Мне всегда нравился тембр его поставленного голоса. И пока я сопровождал профессора, я и не заметил, как все изменилось. Произошел радикальный апгрейд на клеточном уровне: не успел обернуться – и все. Данные не сохранены.

Жалею ли я об этом сейчас? Нет. Он оказался прав. Как они раньше говорили: исторически. Знаменитая профессорская интуиция! Он успел переформатироваться заранее. Никаких черновиков, никаких учеников – нельзя оставлять следы, которые могут счесть уликами. Я перестал нетерпеливо барабанить по столу. Никакого популизма! Только респектабельная

гуманитарная деятельность. И немного общественной нагрузки, совсем немного – в качестве маркера социальной адаптивности (ему это нетрудно: пара бесплатных лекций для людей, способных переламывать пальцы – эффектных лекций в невидимых белых перчатках). Я все понимаю, шеф.

2. Ростовцев

Я же говорил ему: сейчас не время вести какие-то группы. Предупреждал: Княжев, ты рискуешь молодыми, ты соблазняешь их невозможным. Ты – ладно. Пиши себе в стол (можно подумать, что княжевское плетение словес что-то меняет в истории литературы... но ладно: о мертвых или за здравие, или никак – так себе каламбур). А он возражал: у меня встроенная программа, мол, я не могу, я должен нести свет по цепочке. Это ты, говорил, можешь быть и. о. человека, а я не могу.

Свет – ну-ну. Ну и ну.

Ах, я и. о.? Так ты сначала разберись, заносчивая двуногая сволочь без перьев, что такое человек, и потом уже себе позволяй. Но что это я... что это я...

Я не Княжев. Мне есть, что терять. Майя, дети, разум, способность наслаждаться искусством. Гуманизм, в конце концов. Сбереечь людей – вот что главное. Сопротивление идиотично именно потому, что увеличивает число жертв по обе стороны баррикад. А о семьях полицейских ты не подумал? Истинный гуманизм и толерантность должны касаться всех без исключения. Без исключения. Этический снобизм оппозиции не менее отвратителен, чем перегибы власти, разве нет?

Нас было трое. Княжев, Ростовцев, Ветлугин. Трое в лодке, не считая Харона. Неплохая шуточка, а? Ты не вейся, черный юмор. Мы были лидерами своих поколений. Нас пытались столкнуть, воображая себе то яркую дружбу – то явное соперничество. Но, честно говоря, мне с ними и не было нужды соревноваться. И что теперь? Старший отбросил роликовые коньки, у младшего завтра фиктивные или настоящие похороны (мне пообещали его сохранить, но я уже никому не верю), а средний, которого иные считали самым-самым (как долго я верил им!), усомнился в этом и действительно перестал быть. Харон, не смей ты меня хоронить.

А может быть, младшего только ведут длинными коридорами, длинными коридорами? Может, выпустят вон из отечества, подвергнув пластической операции и заставив сменить имя, и он примется мирно и молча жить себе, поживать, выращивать брюссельскую брокколи? В конце концов, не всё же охватывает литература, есть еще свободные зоны для жизни... Эй, кому ты это говоришь?

Гадко, но Княжева мне не жаль.

Почти. Что же касается Ветлугина, то культ, созданный его последователями и учениками, отдавал такой дурновкусицей, что, казалось, лопнет даже не от внешнего щелчка, а от растяжения оболочки. Наша стычка послужила лишь спусковым крючком естественному ходу вещей.

Да и кто мы, на самом деле? Друзья-однополчане? Все трое знали, что это не так.

Здесь ни к чему сентиментальность. Они-то со мной не считались. Они позволяли себе.

Ничего живого не осталось между. Метафизик – какое глупое слово! – никогда не относился ко мне всерьез.

Не упоминал обо мне на зарубежных конгрессах. Не знакомил со славистами, когда они еще приезжали к нам. Считал, что я не достоин? В тот год, когда он в последний раз катался в Италию, я получал – ни много ни мало – государственную премию за вклад.

Нет, даже не в литературу. Шире.

В отечественную культуру. Но он этого не заметил. Это не имело для него значения.

Не думаю, что он продвигал и собственных учеников. Да он почти не пускал их к себе! А они толпились. Вульгарные паломничества. Мне казалось, он специально создавал эту очередь, этот ажиотаж вокруг своей персоны. Позиция недоступного гуру – эффективный пиар.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.